

Не сказать, чтобы Прохор отставал от нового века — просто не успел выжить из минувшего. Этот новый век ещё в старом так отчубайсил всех ваучером, что до сих пор хребет чешется.

Старая Дарья Михайловна, соседка Прохорова в Логах, пока не разобралась, всё Чубайса Волчером называла. Да и неспроста, видать.

Всё одно к одному. В очередную перемену курса Дарья, как обычно, пришла на почту за пенсией. И что же? — вместо вороха денег ей выложили всего... две бумажки. Одно и то же, сказали, — бери. Дарья не ребёнок, и хоть ей за 80, считать не разучилась, много от мало отличает.

— Мало, — говорит Дарья почтарьке, — прошлый раз я много получила, не возьму.

— Бери что дают, — отвечает почтарька, — не мешай работать.

«Никак обмануть хочет, — подумалось Дарье. — Ишь, мешаю я ей!»

— Не возьму, — настаивает на своём старуха, — зовите дочку, чтоб без обману.

Пришлось дочку позвать... Всю дорогу до дому Дарья пыталась осмыслить, как это получается, все одно: что мало, что много. Да так и померла, не осилив, едва переступив порог.

Всех Дарьиных за долгую жизнь сбережений едва хватило на похороны да на скромные поминки. Как легко догадаться, что не раз отмечалось и классиками, на Дарьины похороны день выдался скверный — дул холодный ветер, с серенького неба срывались ленивые слезинки дождя; за гробом шли четыре-пять унылых старух, которые обычно и обмывают, и провожают таких, как Дарья, в последний путь. Реденько сорили еловым лапником.

Не для каждого у Бога погожий день, да и не каждому усопшему высоко в небесах у самых райских ворот сияет золотое солнце. И разница не только в погоде или в божеском благоволении, а и в памяти человеческой.

К примеру, ну чем ту же Дарью вспомнить? А иных есть чем: тысячи тысяч людей в землю зароят, в прах обратят в своих то блистательно-коротких, то подлиннее, в годы, войнах.

Хоть из чистого золота жеребца в память народу каждому о том, с победоносцем на полированный постамент гранитный, и чтоб трубы серебряные трубили, и чтоб бил копытами конь и грозно гудел: гу-гу-гу-гу!!

У Дарьи с нашей Великой Отечественной, она ж и кровавая Вторая мировая, не вернулись муж да двое сыновей. И до того не было в Дарьином роду, чтобы хоть кто-то не сгинул в войнах.

Родилась Дарья лет за семь до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года; из Логов выезжала только в замужество на шахты, в Донбасс. Хоть жилось там и хлопотно, да в тепле, — дом держала, семьёй дорожила. На Донбассе и расписываться научили, в ликбезе.

А как мужиков на войне поубивало, с дочкой в Лога приехала — кому нужна Дарья на чужой стороне. Из тех тёплых мест она разве что тёплые слова вывезла, для нашего уха непривычные. Бывало, выговаривает дочке: «Ты бы лушпекайки не в ведро, а на лужбайку — куры клюют».

За долгую свою жизнь Дарья научилась делать громко и потише радио, управлялась с электроплиткой.

Прослышала, что за свет надо платить, попросила вернуть самую неяркую лампочку: как же, её глаза света яркого бояться! Зажигала ту лампочку только поздним вечером да в тёмные зимние утра.

Единственную внучку свою Дарья готова была за пазухой носить:

— В городе таперича живеть, вывчилась на начальника внученька; таперича ничаво ни делаить, только провирять ездить.

И не зря гордится Дарья грамотной внучкою — отчим-то, хоть уже не ликбезом охваченный, а всеобщим по стране средним образованием, в страстном и решительном желании «покончить» передал любимой теще в заверение такую написанную собственной рукою расписку: «Я ШУМЕТ НЕ БУДУ И ДРАЦА НЕ БУДУ ЕСЛИ ЕЧЕ ПОВТОРИЦА ТО СОЖАЙТЕ МЕНЕ».

Нет уже в живых и Дарьиного зятя — наверно, всё-таки повторялось. Не вступая с ним в борьбу, покорила, выгорела нутром и её дочка.

Внучка унаследовала Дарьин дворец — крохотную избёнку под крышей, крытой рубероидом по дранке, да четыре курицы с будильным петухом.

Тенью пронеслась над Логами Дарьиная жизнь, а всё же зацепилась, оставила след по себе: бывавшие в Логах нет-нет да и припомнят, как покупали у Дарьи необычно вкусные, в кулак величиною, куриные яйца. А секрет был простой — курочки дикарками вывелись и выходились сами, пока не повзрослели, чтобы лушпекайки клевать. Так диво ли, что каждая по четыре раза на дню неслась.

Только закатный луч скользит теперь над бурьянами на месте Дарьиной хатенки, скользит, ни за что не цепляясь. Разве споткнётся и высветит молодые белоствольные берёзки на краю бывшего пахотного поля.

Проход с интересом вслушивается в чужеродную вязь новых слов. Давно уже, как-то по-школьному, прошёл — выучил бартер и ваучер, нисколько не удивился созвучию бордель и баррель — в родстве...

Промоутор, дилер, гламур, медиа и пиар... и прочая, прочая, в аббревиатурах, были уже за пределами притяжения его планетной системы.

Не попрекать же детей, зародившихся в объятиях нового века, тем, что они никак не могут понять своих бабушек и дедушек. О чём это: «друг милый, не велеть ли в санки кобылку бурую запречь?». О чём это? Пушкин, поэт? Кажется, Александром Сергеевичем звали... Достоевского будущие дипломаты в советские писатели определили. А что же не будущие и не дипломаты — в Союз журналистов запишут?

Дилеры, киллеры, комп, мышка — тут всё понятно и просто; но вот «трещит затопленная печь?..» А ещё, говорят, этот Пушкин латынь и греческий знал, на французском стихи сочинял... В ноутбук — вот язык, мировой — знай, кнопки жми. Сам не поймешь — друзья помогут. Да если надо, теперь на мобилу любую муму сбросят, а захочешь — то и Герасим заговорит. Башня Вавилонская новая, похоже, ввысь растёт и вширь разрастается. Чужим языкам всем народом обучаемся. Кто на слух учится (гламур, лямур), кто по банкам консервным, что выедает, кто по пакетам.

Вот до чего дело дошло. Объявились как-то двое в Логах, не так уж и молодые, ещё «Приму» да «Беломорканал» курили (теперь-то больше «Петра Первого» на дым изводят), глаза с усмешечкой. Прослышали, говорят: Проход Петрович, забор починить вам надо... Так мы того... починим, как бы.

— Так и сколько же вы за работу, как бы, возьмёте? — спрашивает Проход.

— Не-е-е-е-е, мы, это, поглядеть что к чему — насчёт цены с нашим менеджером договаривайтесь.

... И ушли, к великому изумлению Прохода Петровича.

Что? Забыли, как с кротов шкурки сдирали? Или в «пещерах» потеплело, не дует уже? А может, петух жареный ещё в задницу не клюнул? Да за копеечкой земле кланялись, а у Прохода — пальцем пошевелить — не хочу. Не хотят брать — мало. Больше бы и взяли, да стыдно. Ну, это так Проход рассудил... С менеджером, однако, договорились. Хотя этот тип какой-то пластиковой карточкой голову морочил. Проход такой и в глаза не видел. Всё, что когда-то считал Проход в кошельке, за четвёртый знак, как на счётчике электрическом, не переваливало.

«Серость и темнота ты, — думает о себе Проход. — Вот в Париж тебя не вытянешь — скучно. Слетал бы хоть в Штаты Соединённые, коллеги-друзья давние приглашают; живи, пока не обрыднет в этой самой Калифорнии — жильё своё, комфорт, кондишены, бассейны с молодыми акулами. Однако обуржуазились марксисты-перерожденцы — извиняй, мол, Проход, дорогу

туда-обратно изволь сам оплатить. Дороги, видите ли, им не потянуть, эрлайны разные».

И Прохору дороги не потянуть — ни через океан, ни через Берингов пролив... Ни в какую сторону не потянуть. Может, на автобусе по социальной льготе, за бесплатно, с жёлтой карточкой?

Ну и зачем Прохору такая их Калифорния? Вот разольётся по весне Басиха, луга-болота затопит — с каким океаном сравнить? Спадёт вода — кусты ивовые зацветут, преобразятся, словно шмелями золотыми высветятся, пчелы дикие налетят — медком потянет. А уж когда соловьи нагрянут, — эхма! — какая там Калифорния? Забудешь, с какой стороны солнца ждать, — что тебе на концерте песни и пляски по праздничным дням. Правда, соловьи только по весне поют, раз в год — как тут в счастье не поверить? Бывают, однако, странные сближения. По весне, как раз на масленицу, Прохора в люди потянуло, в районный Дом культуры зашёл. И как раз угодил под народный имени Коммунистического Интернационала молодёжи (это Прохор точно запомнил, КИМом сослуживца звали) ансамбль «Золотая Челюсть». Три часа сарафанного счастья. Не солгать, морщины разгладились, хоть и места-ми, — в Лога возвращаться не хотелось.

Жалееет Прохор, что не жмётся к нему городской его внучик, не стоит у него на босых ступнях, как когда-то сам мальчонкой стоял Прохор на ступнях своего деда, с затаённой робостью вслушиваясь в тихое потрескивание звёзд в безмерно высоком ночном небе.

Зимую на крыльце долго не постоишь, хоть и дух захватывает от слепяще-яркой луны над деревней, от свечения снегов, от пугающей густой синевы в провалах между хлевами и избами.

«Живой, однако», — улыбался Прохор Петрович, возвращаясь в Лога на ту памятную масленицу. Ансамбль КИМ ЗЧ порадовал тогда Прохора, вызвал, поманил из душевных глубин такие чувства, словно хорошо выполненная работа. Такие песни пели — сердце таяло в груди, в соловьиную весну поскорей захотелось, и чтоб любимая за шею руками обхватила и к твоей груди своей грудью прижалась.

«Вот вам! Вот вам! — в мыслях выговаривал Прохор сбежавшим в Штаты. — Чтоб у вас сердце в груди, как селезёнка у коренника, ёкало... Да у вас-то, поди, и соловьёв не бывает? Или и с них за перелёт через океан денежки выцыганиваете? Вот вам про Басиху! У вас такой не сыскать! А боры-то сосновые стоят вдоль Невесницы! Не стану вас расстраивать — вдруг сердца ваши с воспоминаний да с расстройств и вправду пообрываются... (Как же, стоят те боры, — споткнулся мыслью Прохор, — меньше чем за год положили. Да всё равно, пускай посохнут эти космополиты! Так им и надо!)».

И не кипятился бы Прохор, только в начале лета, прогретшего речные берега, вышел он к устью Басихи. И, к немалому изумлению своему, увидел там то, что называл теперешним диким словом — текстовка. Два столба возносили размалёванный жестяной лист на трёхметровую высоту.

Не без труда прочитал, однако почти запомнил:

«Р. ПЕРЕПЛЮЙКА (бывш. река Басиха. Упом. 1650 г. 1870 лесосплав)

Наименование Переплюйка принято внеочередным решением Комиссии по переименованиям в связи с историческими и природными изменениями и по многочисленным просьбам трудящихся в 199... по факту».

Последняя цифра и «по факту» были прострелены ружейной дробью.

Знакомый краевед, упрекнув Прохора в пещерной отсталости, сообщил, что «да, против факта не попрёшь», такие щиты по всей России почти устанавливаются. А у нас не только в устье Басихи, а ещё при впадении в Угру речек НЕВЕСТЕНКИ и НЕВЕСТИНКИ близ Щёкина, на родине предков писателя И. С. Соколова-Микитова (так на карте 1994 г., – Невестенка и Невестинка. – *Прим. авт.*), на реке Гордоте (впадает в Угру близ Фёдоровского. На Гордоте в усадьбе Кислово прошло детство И. С. Соколова-Микитова, написаны многие его рассказы. В войну 1941 – 1945 гг. дважды с боями форсировали Гордоту десантники 4-го воздушно-десантного корпуса. – *Прим. авт.*).

Так вышло, что по факту, в связи с историческими и природными изменениями, имеем теперь, соответственно, речки ПЕРЕЙДИПОСУХУ и ПИРИЙДИПОСУХУ, а некогда уносившая в Угру мосты и срубы Гордота и вовсе именуется НЕМОЙ РУЧЕЙ.

Переживая сообщённое краеведом, но всё же ободрённый сходством во мнениях о работе Комиссии, Прохор ощущал порой страстное желание поработать. Уж так обидно было за Басиху. И что подумают теперь эти, в Калифорнии. Их уже, поди, ностальгия доконала, – вот-вот самолёт заказывать, а тут – Переплюйка... Конфуз – выходит, налгал Прохор про Басиху! Хотя, один чёрт – кнопку нажмут, им эту Переплюй-Басиху спутник голенькую на экран выведет, без боров смолистых и полян ландышевых; как девчужку перед зеркалом в мамином лифчике. «А не доживут, пока лифчик в пору, – позлорадствовал Прохор. – Хотя вон уже на Переплюйке и медведи по малинникам шастают... Эпоха возрождения грядёт, Ренессанс российский!»

Только о возрождении подумалось – извилины зачесались, по работе соскучились. Это ж что выходит, проглядело государство, прошляпило – ну, никак нельзя отпускать человека на волю в шестьдесят лет, никак нельзя! Сколько б ещё могли сделать старички... Что и как сделать, Прохор Петрович представлял себе смутно. Но сделать хотелось – Ренессанс.

Прохор Петрович ушёл на пенсию, когда страна меняла гербы и знамёна, так же до неприличия просто – не вышел на работу с понедельника. На вопрос жены: «Что, у тебя отгулы?» – отшутился: «Я с понедельника АРАП. – И пояснил: – Активно Работающий Пенсионер». Жена не возражала... Хорошая у Прохора жена, с понятием – настоящая.

Рассудив, что дорога теперь не путь и не шествие, а детская забава «закрой глаза – открой глаза», Прохор уехал из престольной в свои родовые Лога.

В скромном качестве инженера Прохор Петрович бывал и за границей, и во многих местах дома; многое и видел, и слышал, и научился не делиться «дорожными» впечатлениями. Теперь, когда сломались печати, всё пытался рассказать сыновьям о том и о другом, а они в ответ только: «Мимо, отец, мимо! Живи спокойно, мы тебя любим».

И Прохор жил, ощущая себя по-прежнему причастным к чему-то Единому в мире, полном благодати и ужасов, не поддающихся описанию.

Он понимал язык природы, горячо отстаивал права давно живущих рядом с человеком насекомых на более тесное общение. И, что бы там ни говорили, комары не беспокоили Прохора, осы и пчёлы, присев отдохнуть на его обнажённое плечо, торопились в своё короткое лето. И даже мухи не залетали в Прохорово жилище.

Если бы такое совершенное создание, как бабочка (почти равное в совершенстве человеку-женщине — исследовано), могло уцелеть в хаосе сознаний и суждений, Прохор мог бы выступать с бабочками в цирке. Он попросит — и бабочка понимает. Вот раскроет лепестками цветка крылышки, замрёт на ушной раковине, и тогда Прохор, затаив дыхание, слушает и слушает, как бьются её крошечные сердца.

Много ли мы знаем друг о друге? о себе? о тех, кто рядом на нашей маленькой планетке? По несходству с собою судим. На одних весах взвешиваем навет и верность.

Не понять Прохору, отчего слова золотую суть люди тем же словом и губят. Вот слово — социализм. Из него назад далеко глядеть, а вперёд — ещё дальше, на все века маяком. И суть для всех золотом сияет — «ИЗ МЫ». «А пришло время, — рассуждал Прохор, — и оно, и многие измы обесценились, под девальвацию угодили.

Над Расеею рожь посеяли
Зорькой раннею, огневой,
Золотится рожь — нет красее... —

пропел Прохор, как обычно в раздумные минуты. — Ну-ка, ну, — распаял себя Прохор, как это там? — Расея, от Москвы и до Енисея... А до Москвы? А за Енисеем, до Амура?

Или в угоду Расее «русскостью» кичимся — потихонечку б грамоте учились, стихились бы годков на десяток-другой, РОССИЮ бы сберегли. А то не пришлось бы запеть: «от Москвы и до Амура территория гламура».

Ишь как, — хмыкнул с усмешкою Прохор, вероятно, в похвалу, — поэты первыми «перемену курса» почувствовали и от потерявших силу слов отказались. На новых «купюрах» и рисунок поменялся, и год выпуска другой. Подругому и рифмовать придётся... Распевное времечко», — заключил Прохор.

Часто Прохор беседовал со своей собакой Ларионом. Иногда пёс повизгивал, соглашаясь; чаще молча вертел хвостом в непонятых местах; всего охотнее слушал с листа. Может, потому, что после прочтения Прохор комкал

лист, и тогда Ларион на правах первого оппонента шугал котёнка Шидлу, зажимал комок между лапами и, уткнувшись в него носом, на какое-то время засыпал.

– Скажи, Ларион, если ты мне друг (в ответ Ларион подавал голос – гав, гав), скажи, дано ли тебе предугадать, когда кончается одно и начинается другое? Нюхал ли ты хоть раз мебиусову ленту? Знаешь ли, как вымерить меру мерой, равной себе? Не крути хвостом, и так знаю, не нюхал. А можешь ли ты предвосхитить мысли? И что в тебе твоего? Согласись, что ты всего лишь часть Пространства в собачьей твоей шкуре, с хвостом. То-то же, визжишь – согласен, выходит.

Вот тысячелетия слышим: человек, человечество, человечность, век, вечность, а не проходят слова, не стираются в сути своей.

И пока только живому, а значит и тебе тоже (ты, я слышу, похрапываешь, лентяй непроходимый) дано почувствовать тонкие различия в них по смыслам. Ни человек, ни ты, собака, не можем войти в Вечность при жизни. Когда слышим «больше века не проживёшь» или «чужой век живёт», о человеке ли, о вещи ничтожной, или вот о собаке – тут, прямо скажем, не совсем о Времени. Скорее всего о Состоянии.

– Проснись, лодырь! Я тебе русским языком говорю: только «человечность» пахнет моим желанием дать тебе косточку; то есть желание – психическое, унюхал? А уж когда дам, наверно, прогавкаешь, что я человеческий человек, или по-вашему – настоящий собака. Не так ли?

Перестань визжать, Ларион, – кости дорого покупать даже людям. О Вечности мы подсознательно судим как о Едином Пространстве.

Тут все на равных правах – бабочка, дерево, человек и ты, собака, – все, все. Тут, брат, Века и Народы... Всем места хватает в Едином Пространстве Вечности.

В немецком языке «век» (столетие, эпоха, жизнь), «веко», «вечность» не имеют общего, как наши, корня. А слову человечность в русско-немецком словаре на восемнадцать тысяч слов не нашлось и перевода. Зато нашлось нечто, что подтверждает наши с тобой рассуждения.

Ах, ты всё ещё спишь, собака. Иди-ка гуляй. Иди, иди – вижу, тебе только косточки снятся.

Вот что записал Прохор о вечном и вечности: ewig – вечный, вечное; ewigkeit – вечность. То есть как «вместилище». Сравним переводы слов «бедный» и «бедность»; «беднота» – собирательное! Вечность как Единое Пространство лишена памяти веков, хотя на Вечности веками наживают себе капиталы. Любопытно, спекулируют ли ВЕЧНОСТЬЮ немцы? Им было бы труднее вывести слова из одного гнезда. Где им до тонких переходов – всё у них по полочкам, до скуки. Даже пиво только сосисками с капустой закусывают.

Прохор скомкал лист, бросил к печке, на пол – на растопку пойдёт. Шустрая Шидла тут же завладела игрушкой и устроила Прохору настоящее цир-

ковое представление с выслеживанием, преследованием, поимкой добычи и победными танцами.

На очередном листе Прохор с трудом разобрал им же написанное: «Знать, только в русском языке ВЕЩЬ становится ВЕШКОЙ на дороге памяти...» Далее много раз правленные строчки:

«Для Вечности седые пирамиды,
Ведущие бесстрастно счёт векам,
Не память об ушедших фараонах —
Всего лишь только пение песка...»

— Эх, куда занесло — того гляди, под белы ручки подхватят. А уж там — сживут как сжуют, пропадёшь ни за нюх табака, — хохотнул Прохор. — Поживём, однако, некуда торопиться. Да и кое-что доделать надо бы.

Прохор готовился лечь спать. На душе было бестолково-весело, как на дне рождения; просторно, как в его Соловьиной весне — одной на четверых: два деда да два внука; и вполне в духе века — два в одном и десять процентов бесплатно. Быстрее вспышки зарницы пронеслись милые воспоминания о тех счастливых днях.

— Пространство времени, пространство, — шептал Прохор, засыпая. — Свет...

Кажется, дотянулся... В то же мгновение огромный мегаполис погрузился во тьму. И не нашлось бы желающих увязать эти два события между собой.

Прохор лежал с совершенно пустой головой, готовой к свершению новых открытий. Однако пока ещё без всякого движения мысли, без ощущения тепла или холода.

Одинокое белое облако белым лебедем проплывало над синим лесом. Прохор почувствовал, всего на миг, что наконец-то неведомо как, чудом, осуществится его давнишнее желание пролететь на дельтаплане неторопливо и незвучно, как когда-то летали аисты над его деревней. Тёплая упругая волна согретого под аистиными крыльями воздуха коснулась невзначай его лица и рук. Но другие, неведомые Прохору, крылья бережно подхватили и понесли его в бирюзовое весеннее небо.

Поздним утром в Логах объявилась живописная группа молодых людей. Высокие, статные, со здоровым румянцем на щеках мужчины и улыбочивые белозубые (глаз не отвести, как хороши) женщины весёлым громким смехом подняли с постели Кузьминичну, и та метнулась в испуге к окошку, прилипла к стеклу, едва не расплющив себе нос.

— Ну вот, знать, к Прохору. А к кому ж ещё? Выходит, правду говорил, не лгал про таких-то... Ишь как — на японских лендровежах... Не иначе с навигатором этим, который к нам дорогу показывает. Во понаволокли, — дивилась Кузьминична, — это ж на сколько хватит! Теперь Прохора и из избы не выманишь.

Старуха лукавила — зимой ей и самой не очень-то хотелось «из избы», чаще у неё бывал Прохор.

В обычной торопливой бестолковщине и суете, какая случается, когда наконец — «Ура! Всё — приехали!» — в напряженно-радостном настроении приехавшие направились к Прохорову жилью. Несли свёртки, пакеты, картонные коробки... Высоченный мужчина («Во, лось, вымахал, — отметила Кузьминична, — воду возить») озорно раскручивал глобус, то и дело убыстряя перемены дней и ночей, зим и лет, перемены перемен на нашей крошечной планетке.

Прохор Петрович скончался во сне. Смерть перенесла его на дельтаплане через порог Вечности, и та равнодушно заключила Прохора в своё Беспамятство.

Среди подарков оказалось несколько книжек с мудрёным для многих и сегодня названием: «К вопросу о качестве жизни в реальном и виртуальном. Россия на стыке тысячелетий». То был итог работы Прохоровых гостей, молодых инженеров. В подстрочнике, мелким шрифтом, указано: научный рецензент и консультант Пётр Любомиров.

Схоронили Петра Петровича, по его завещанию, в «наследных» Логах, на сползающем в Забвение деревенском кладбище. Ни креста, ни камня ставить не велел. Говаривал: «Схороните под звёздами, травой прорасту. Мимо не проходите: Вечности всё равно — себя поберегите...»

Прибывшегося в Логи одинокого (или одичавшего?) горожанина, чуть дохнувшего в Логах хрустально-чистого воздуху, хоронил последний потомок известного в наших краях многочисленного рода Лендсли. Лендсли — выходцы из Шотландии — верой и правдой служили и на военной, и на всякой другой службе русским царям и социалистическому отечеству с начала четырнадцатого века; так говорят, иногда пишут в переиздающихся энциклопедиях.

Вышвыривая широким заступом податливую землю, ишотландившийся Лендсли приговаривал:

— Во, хорошее место тебе выбрал — между сосенок; как себе, могилку выкопаю, глубокую... А что — один песок... Копай да копай, пока не надоишь. ...Выкопал, за что и получил от власти сто пятьдесят рублей и бутылку водки.

Подъехала машина с покойником. В скорбном молчании опустили гроб в могилу; вчетвером, не считая шофёра, и управились: ни провожающих, ни речей...

Сломалась на свежем могильном холмике тень от набежавшей тучки. Пролетая, о чем-то прокричал с высоты одинокий ворон. Тихо.

За эту ли тишину сложили головы в снегах, песках да болотах ратоборцы наши?

Колесники, кузнецы, печники да колодезники, плотники наши логовские; и несть числа, кто ещё по матушке земле нашей; всем народом поднялись — и выстояли. Их не в чем упрекнуть — они не вернулись с войны. Им не знать о том, что попранные знамёна неприятеля брошены на брусчатку Главной площади столицы нашей и преданы огню перчатки, коснувшиеся поганого древка тех знамён. Живым бы и знать, и помнить.

...В сонную тишину, пронизанную светом занимающейся зари; в утро, переполненное властным ожиданием Свершения; в Соловьиную Весну над Переплюйкой истошно, на языке своей матери, орала молодая женщина.

— Рожает, однако, — сказал бы Прохор. — Мальчик... Видать, крупный: головкой выходит... О! — голос подал! В деревнях наших, вдоль Басихи, бабы, бывало, чаще мальчиков рожали.

И, крякнув, добавил бы с прищуром:

— Раз говорят — всё образуется! А как же иначе? Не всё ж говорить... Это-то вон в какую весну выпрыгнул! Надежда есть, за землю зацепится.

В ещё не пробудившемся дне было слышно, как с деревьев, с молодых ещё, нежных, как пятка новорождённого слонёнка, восковых листочков, срывались вниз и сочно чмокали жемчужные капли росы.